

Зорко глядящих в печные подзорные трубы...

Тот ли узор вышивают беспечные птицы
в небе, свободном от грустных осенних дождей?
Крестики-нолики, солнца холодные спицы —
вот и рисунок, запомни его на сто дней
зимних, суровых, но все же, мой друже, не грубых,
грабли забывших, зато посреди тишины
зорко глядящих в печные подзорные трубы —
спят или бодрствуют те, кому крылья даны?

Ибо распахнута-кресты и небес вышиванье,
сальто, круженье души среди зимнего дня
схожи с любовью, а ей не подыщешь название —
крепче вай-фая и ярче живого огня!
...Зона молчанья. На окнах белеют узоры,
но приглядишься — пульсирует дым из трубы...
Скрипнет душа половицей, снежком у забора...
Крестики-нолики нашей с тобою судьбы.

Крепки твои, Господи, коды...

В лесной колокольчик звони, и откроются взмахи
капризных лимонниц над волнами зрелой травы,
а если вороны предложат к обмену папаху —
колючие гнезда свои, — не теряй головы —
меняй на стихи, на улыбку, на ясность во взоре
продукцию леса, вороний скопившийся нал.
В такой вот папаче — добротном Кавказа уборе —
тебя бы и Пушкин, и Важа Пшавела узнал!

Ползет муравей — оператор насосной системы,
качающей воду в реактор с названием «листок»,

и ветер листает страницы воздушной поэмы,
написанной радугой — семь ослепительных строк,
семь смыслов неясных... Крепки твои, Господи, коды!
Но верую в чудо: найтѣ направит туда,
где майский разлив оживляет застойные воды,
где птичий полет над репризой земного труда.

Ладонь и спичка — внутренность лимона...

Ладонь и спичка — внутренность лимона
передо мной сияет в темноте.
Ты закурил? Ну, ладно. До балкона
я провожу тебя в недоброте.
В разладе провожу, а там уж сам ты
себя веди, чтоб темный ветер — в дых.
Как провожал когда-то смертный Данте
Вергилия к заботе о других.

Алтайская осень

Словно Золушка, в полдень сорит высота
лепестками прозрачными мухи.
Флорентийские краски вбирает Алтай
в каменистые поры Белухи.

За медвежьей межою — Монголии гонг
и верблюжьи сутулые юрты.
Сам Бог Азии здесь — красотой занемог,
сквозняками от пыли продутый.

Высота высотой помыкает, в снега
уходя, как художник — в работу.
И орлиные гнезда отыщет нога,
и больничных сиделок заботу.

По биению пульса колючих ключей,
на икринке Оби на ладони
загадаешь низовые стаи грачей
и сады с Вифлеемской звездой.

Осень скажет, как рыбе в реке зимовать,
как молиться на старые сани,
если панцирной сеткой темнеет кровать
перелетных пернатых над вами.

Так жену разлюбив, проживает свой век
хан монгольский в роскошном жилище,

в половину седую — еще человек,
в остальную — уже пепелище.

Над Алтаем, как яблоки, звезды горят,
и ближайšie к вам поселенья —
Орион и Плеяды — в ночи шелестят
золотым языком просветленья.

Осень вымажет руки в брусничной крови,
вся — как выстрел, раздавшийся к сроку.
Вы на проводе. Вы в двух шагах от любви.
Вы еще на Земле, слава Богу!

Бабка Глафира о моем творчестве

— Хороший стих, — мне бабка говорила, —
не ведает телесной наготы,
не пахнет потом, как в бегах кобыла,
не топчет в поле нежные цветы.
Но пуще многогранного разгона
и мастерства владения словом
он в сердце наподобье самогона
стекает, атакован огурцом.
А там такое действие творится,
что ни сватьям, ни куму не скажу! —
Читает книгу золотая птица
и день один — в трех лицах — серебрится,
и тень ведет, как землемер — между...

Уймонская долина

Феерия

Уймонская долина в платье белом —
белее сдобы, слаще молока, —
чуть посветлело в мире, зазвенела
заботливою пчелкой у цветка.
Она тропую шла, ведущей к лету
и к трем любимым братьям-близнецам.
Июнь, июль и август, разогретый
дыханием полынного венца,
ее встречали, стоя на пригорке,
ковбель-трава стелила свой ковер,
и было слышно, как открыла створки
на небе Мать Мария и, в простор
смущенно глядя, бросила улыбку —
живой комок нездешнего тепла...

«Играйте, дети! В вашем мире зыбком
и я играла в мяч, когда жила».

Письмо для Бога заготовил...

Письмо для Бога заготовил —
крыло зеленого жука,
и за соломой нищих кровель
открылось небо, как река.
И красота проста, как детство,
и не пугает недолет.
Письмо — распахнутая дверца
в себя, где творчество живет.

Луна в поселке Зеркальный

В поселке Зеркальный луна отдыхает на дне
речного затона, среди рыбьего зыбкого сна,
и смотрит на избу, гулянку лихую извне,
сквозь охру воды, любопытством кухарки полна.

Три лодки уплыли за мыс, оставляя усы
на темной воде, а их тени — на жабрах линей.
Каркасы черемух похожи на тонкие сны:
из мира иного глядят на причуды людей.

В мелькании крыльев, в сиянии крапчатой тьмы
нарезы видны, как в охотничьих длинных стволах,
а лампу засветишь — нисходит печаль на умы,
хоть с вечера мучит гармошку лихой вертопрах.

Коллоидный воздух на гору и рошу надет,
как звездный колпак на шута за ночные труды,
и всюду, как свечи, коптят уже тысячи лет
березы и сосны... Их видит луна из воды.

Устал гармонист и к мосткам деревянным идет,
пуская дымок папиросой, а после вослед
Атлантикой веет и жабьей икрою несет,
и желтая струйка рождает нехитрый сонет.

В поселке Зеркальный я сторожем зеркала был,
начальником сна и с иными мирами связным.
Светает там поздно... Со дна, в бирюзовый аил
всплывает луна молодая и тает, как дым.

После дождя

Дождь ли отеческий в мае
сыплет горохом в окно?
Небо усмешку Китая
прячет в свое кимоно.

Эти таежные страхи,
словно в жару ребягня,
скинув порты и рубахи,
прыгают в речку — в меня.

Я же теку на излуку,
в сердце любимой Руси.
Изобразят мою руку
шуки, язи, караси.

Весь от истока до устья
полон любви берегов,
трогаю небо — о, пусть я
лишь отраженье его!

Фиолетовая старость

— Сколько мне еще осталось? —
годы спрашивал Басё.
Фиолетовая старость
заслонит собою все.

Утром выйдет на прогулку
с фиолетовым зонтом —
одинокая фигурка
тает в воздухе пустом.

Атакуют пионеры
баррикады новых дней,
но понять не могут веры
фиолетовых людей.

Им подарена свобода
видеть все, что портит нас.
Арифметика природы
явно здесь не задалась.

Легок миг преодоления
вечной тяжести земной.
Схожа старость с просветленьем,
с фиолетовой зарей.

Орбитальная работа —
обновления педаль...
Вон, летит по небу кто-то —
фиолетовая даль.

Таксомоторная пчела

Березы кольца годовые
желтеют, как труба в трубе,
и жилы спят — городовые,
и сон их долгий — вещь в себе.

Но лишь весна коровьим ляпом
ударит в бубен — звонкий лед,
в них просыпается Шаляпин
и соком арии поет.

Горизонтальные соседки —
зеленым дымом курят ветки,
и золотую колбасой
висят сережки над росой.

— Весна! — мужик тверезый скажет
и голос в воздухе размажет,
и пролетит вокруг чела
таксомоторная пчела.

Лермонтов

Светло под камнем с пулею в груди
лежать и видеть жизнь в ее полете,
как будто белый парус впереди
колышет день в весеннем повороте.

И Лермонтовым пахнут острова
у горной речки, засучившей смело
по дельте ледяные рукава,
в которые втекают каравеллы.

Я понимаю: у волны речной
и у волны морской без передышки
идут суда, и пахнет соль луной,
и жабры рыб топорщатся, как крышки.

Но Лермонтова тени и пыльца
на всем, что знало русское столетье!

Белеет парус Зимнего дворца
и синевой влекут просторы смерти.

Не жди подачек от сырой земли
когда опять зачинщиком событий
в нас Лермонтов семерки на нули
под сводами меняет общежитий.

Он — ось национальной кутерьмы,
и он же — звездочет в льняной рубахе,
приговоренец двусторонней тьмы,
достигший просветления на плахе.

Алтайский часослов

1

«Нет!» — сказал Господь. Адам заплакал
и на Еву грустно посмотрел.
Та листок тропического злака
сорвала и сделалась, как мел.
Дождик поддержал унынья песню,
где-то вдалеке запел сверчок...
Радугой спускались с поднебесья,
чудные, прозрачные еще.

2

По дороге длинной, как сказанье,
шли, и говорила тишина...
«Вы ли это?» — «Мы». — «А где заданье,
что в ночи сияет, как луна?
Песня ваша где — душе лекарство,
что земные славит времена?..»
Шли в еще не спетое пространство,
отличить пытаясь жизнь от сна.

3

«Не предадим суровых ледников!» —
клянутся реки и ручьи Алтая,
но с гор опять текут... Закон таков:
снег на весеннем солнце быстро тает!
Бегут, седое небо прихватив,
поля и лес, доступные их взору,

в пути рождая песенный мотив,
служба Владыкам фауны и флоры.

4

Ударь деревню дымную о звезды,
чтоб кровоточить стала от усилья
себя познать вне чисел и погостов,
чтоб снова ощутила свои крылья
крыльцом и крышей — всей жилой системой,
и в том краю, где ищущий обрящет,
деревню, мою грустную поэму,
не задвигай, Владыко, в долгий ящик!

5

Бросался словами, себе на уме,
струился наречьями, как ручейками,
и вот — будто нищенка ищет в суме
иного пространства худыми руками!
Что делать, не знаю, и точки следят
за тем, чтоб слова не вернулись назад,
запачкав себя падежами иными
и дружбой с корявыми запятыми.

6

В стеклянной часовне, которую мы называем поляной,
дух летнего полдня валяется с нимфою, пьяный,
и тешит свое самолюбье лесное он тем,
что с нимфой затронул немало классических тем.
Но выдох его для стеклянной часовни — веселье
и жердь, на которую мысли, как птички, присели.
Часовня сама по себе существует на свете,
но будут ли дети? Будут ли сказки о лете?

7

Награди меня кашлем, оспою,
чтобы чувствовал боль других.
Я — урок твой последний, Господи:
больше не создавай таких!
Лучше ящериц с пауками,
лесовую, степную прыть,
а с ногами или с руками —
все равно... Лишь бы мог любить!



Возле трактора — плут, говорящий земле: «Извините,
если я запущу свои когти в ваш темный уют?
За вторжение свое подарю я вам солнце в зените
и пшеничное море — его элеваторы ждут!»
Розоватая дымка, как думка, и птичьи коленца
отвечают ему — у земли не отрос еще рот!
Вот мотор застучал, и дымы из трубы-полотенца,
и высокоу ноту изношенный трактор берет.

А кормилицу-мать лихорадит заботой весенней:
корневою сплетению жить надлежит глубиной!
И червяк среди него — очевидец зеркальных вселенных —
чечевицу нашел и любит ее, как луной.
Под ногами Агарты — страна агрономов и гномов,
с городами-высотками, в нитках подземных путей...
Всякий ныне живущий в стране этой будет, как дома,
в батискафе сосновом без окон, увы, и дверей.

А на Белой горе, в зоне льда и щербатого камня
много раз наблюдали, как ангелы прошлых эпох
то озона глотнут, то амриту скатают руками
вроде хлебного мякиша — завтрак, обед ли — неплох!
И глядят день-деньской в гужевые земные просторы
помогающим взглядом, единым на все времена...
У тушканчика горе: разрезало надвое нору!
Тут семейная жизнь возродится, но очень не скоро:
в развороченной почве детишки лежат и жена...

Алтай

Здесь Минотавр с глазами человека
в ущельях горных, истину алкая,
свою тропу прокладывает к веку
художника-бродяги Таракая.

Взяв за основу снежные громады,
что падают в румяные озера,
Владыка гор на арфе водопада
играет утро с просветленным взором.

Ворочается Золотая дева
в кургане, утонувшем в разнотравье,
желая всем, кто за Алтай радует,
удел героя и защиту навью.

Придет ли дождь – висит хрустальной люстрой,
придет ли жук, и дятел спозаранку
творит свое нехитрое искусство,
смолой кедровой заживляя ранку.

Земной Эдем... Лишь в трепете несмелом
коснуться можно его нежных радуг!
И даже трактор в поле гарантеллой
встречает утро — от весны подарок.

Кто превратил одинокое дерево в теревов?

*Утро туманное, утро седое...
Иван Тургенев*

Кто превратил одинокое дерево в теревов?
Мазью алмазною смазал сучки у плетня?
Зренье 3D потеряло привычное стерео:
дали исчезли, поле лишилось коня...
Или покров опустила тишайший Пречистая
на извлечение корня из влажной земли,
на торжество жития, укрепленного числами,
на виртуальный дуэт с Сальвадором Дали?

Молча бреду в этом царстве земного безмолвия,
где и полслова промолвить — себя запродашь
в рабство любви к лепестку, к почерневшему олову
лужи дорожной, вместившей таежную гать.
Ключья тумана ползут, как в лесах Белоруссии
в зиму морозную смелый отряд партизан.
Что им атака, что смерть от гранаты — иллюзия,
если приказ уничтожить противника дан!

Или у горной реки облаков заседание
с речью ондатры, плеснувшей хвостом по воде?
Где это виделось? Слышалось? Было заданием
путь проложить сквозь туманы к заветной звезде?
Зона забвения... Хлюпают зябкою птицею
берег Катуня, и слышится тальника речь:
«Надо б у этих туманов отнять амуницию,
выжать покрепче, заставить по желобу течь!»



Японская ваза разбилась о что-то,
когда ее в небо подбросил Басё.
Конфеты, хрусталь и японские ноты
посыпались с неба на русское всё.

Я сам это видел: своими глазами
осилил зарницы немое кино
о том, как идут в облаках с образами
рязанские бабы в простом кимоно.

Японская ваза и русская песня
сошлись на скрещенье воздушных путей,
и хайка украсила русские веси,
и ямб по-японски глядел на гусей.

Захлопали дверью дома и киоски,
узнав в Моссельпроме, что горный хрусталь
Басё покупал не один — с Маяковским,
и вазы разбитой им было не жаль.

